

К.М. Симонов (1915—1979)

Дни и ночи

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнем вспоминать, и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое гремяние перегоревшего кровельного железа.

Немцы осаждают Сталинград. Но когда здесь говорят «Сталинград», то под этим словом понимают не центр города, не Ленинскую улицу и даже не его окраины, – под этим понимают всю огромную, шестидесятипятикилометровую полосу вдоль Волги, весь город с его предместьями, с заводскими площадками, с рабочими городками. Это – много городков, создавших один город, который опоясал собой целую излучину Волги. Но этот город уже не тот, каким мы видели его с волжских пароходов. В нем нет поднимающихся веселой толпой в гору белых домов, нет легких волжских пристаней, нет набережных с бегущими вдоль Волги рядами купален, киосков, домиков. Теперь это город дымный и серый, над которым день и ночь пляшет огонь и вьется пепел. Это город-солдат, опаленный в бою, с твердынями самодельных бастионов, с камнями героических развалин.

И Волга под Сталинградом – это не та Волга, которую мы видели когда-то, с глубокой и тихой водой, с широкими солнечными плесами, с вереницей бегущих пароходов, с целыми улицами сосновых плотов, с караванами барж. Ее набережные изрыты воронками, в ее воду падают бомбы, поднимая тяжелые водяные столбы. Взад и вперед через нее идут к осажденному городу грузные паромы и легкие лодки. Над ней бряцает оружие, и окровавленные бинты раненых видны над темной водой.

Днем в городе то здесь, то там полыхают дома, ночью дымное зарево охватывает горизонт. Гул бомбежки и артиллерийской канонады день и ночь стоит над содрогающейся землей. В городе давно уже нет безопасных мест, но за эти дни осады здесь привыкли к отсутствию безопасности. В городе пожары. Многих улиц уже не существует. Еще оставшиеся в городе женщины и дети ютятся в подвалах, роют пещеры в спускающихся к Волге оврагах. Уже месяц штурмуют немцы город, уже месяц хотят овладеть им во что бы то ни стало. На улицах валяются обломки сбитых бомбардировщиков, в воздухе рвутся снаряды зениток, но бомбежка не прекращается ни на час. Осаждающие стараются сделать из этого города ад.

Да, здесь трудно жить, здесь небо горит над головой и земля содрогается под ногами. Опаленные трупы женщин и детей, сожженных фашистами на одном из пароходов, взывая к мести, лежат на прибрежном волжском песке.

Да, здесь трудно жить, больше того: здесь невозможно жить в бездействии. Но жить, сражаясь, – так жить здесь можно, так жить здесь нужно, и так жить мы будем, отстаивая этот город среди огня, дыма и крови. И если смерть у нас над головой, то слава рядом с нами: она стала нам сестрой среди развалин жилищ и плача осиротевших детей.

Вечер. Мы стоим на окраине. Впереди расстилается поле боя. Дымящиеся холмы, горящие улицы. Как всегда на юге, начинает быстро темнеть. Все заволакивается иссиня-черной дымкой, которую разрывают огненные стрелы гвардейских минометных батарей. Обозначая передний край, по огромному

кольцу взлетают в небо белые сигнальные немецкие ракеты. Ночь не прерывает боя. Тяжелый грохот: немецкие бомбардировщики опять обрушили бомбы на город за нашей спиной. Гул самолетов минуту назад прошел над нашими головами с запада на восток, теперь он слышен с востока на запад. На запад прошли наши. Вот они развесили над немецкими позициями цепь желтых светящихся «фонарей», и разрывы бомб ложатся на освещенную ими землю. Четверть часа относительной тишины – относительной потому, что все время продолжает слышаться глухая канонада на севере и юге, сухое потрескивание автоматов впереди. Но здесь это называют тишиной, потому что другой тишины здесь уже давно нет, а что-нибудь надо же называть тишиной!

В такие минуты разом вспоминаются все картины, прошедшие перед тобой за эти дни и ночи, лица людей, то усталые, то разгоряченные, их бессонные, яростные глаза.

Мы переправлялись через Волгу вечером. Пятна пожаров становились уже совсем красными на черном вечернем небе. Самоходный паром, на котором мы переезжали, был перегружен: на нем было пять машин с боеприпасами, рота красноармейцев, несколько девушек из медсанбата. Паром шел под прикрытием дымовых завес, но переправа казалась все-таки долгой. Рядом со мной на краю парома сидела двадцатилетняя военфельдшер девушка-украинка по фамилии Щепеня, с причудливым именем Виктория. Она переезжала туда, в Сталинград, уже четвертый или пятый раз.

Здесь, в осаде, обычные правила эвакуации раненых изменились: санитарные учреждения уже негде было размещать в этом горящем городе; фельдшеры и санитарки, собрав раненых, прямо с передовых сами везли их через город, погружали на лодки, на паромы, а перевезя на ту сторону, возвращались обратно за новыми ранеными, ждавшими их помощи. Виктория и мой спутник, редактор «Красной звезды» Вадимов, оказались земляками. Половину пути они оба наперебой вспоминали Днепропетровск, свой родной город, и чувствовалось, что в сердцах своих они не отдали его немцам и никогда не отдадут, что этот город, что бы ни случилось, есть и всегда будет их городом. Паром уже приближался к сталинградскому берегу.

– А все-таки каждый раз немножко страшно выходить, – вдруг сказала Виктория. – Вот меня уже два раза ранили, один раз тяжело, а я все не верила, что умру, потому что я же еще не жила совсем, совсем жизни не видела. Как же я вдруг умру?

У нее в эту минуту были большие грустные глаза. Я понял, что это правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза раненой, уже пятнадцать месяцев воевать и в пятый раз ехать сюда в Сталинград. Еще так много впереди – вся жизнь, любовь, может быть, даже первый поцелуй, кто знает! И вот ночь, сплошной грохот, горящий город впереди, и двадцатилетняя девушка едет туда в пятый раз. А ехать надо, хотя и страшно. И через пятнадцать минут она пройдет среди горящих домов и где-то, на одной из окраинных улиц, среди развалин, под жужжание осколков, будет подбирать раненых и повезет их обратно, и если перевезет, то вновь вернется сюда, в шестой раз.

Вот уже пристань, крутой подъем в гору и этот страшный запах спаленного жилья. Небо черное, но остовы домов еще черней. Их изуродованные карнизы, наполовину обломленные стены врезаются в небо, и, когда далекая вспышка бомбы делает небо на минуту красным, развалины домов кажутся зубцами крепости.

Да это и есть крепость. В одном подземелье работает штаб. Здесь, под землей, обычная штабная сутолока. Выстукивают свои точки и тире бледные от бессонницы телеграфистки и, запыленные, запорошенные, как снегом, обвалившейся штукатуркой, проходят торопливым шагом офицеры связи. Только в их донесениях фигурируют уже не нумерованные высоты, не холмы и рубежи обороны, а названия улиц, предместий, поселков, иногда даже домов. Штаб и узел связи спрятаны глубоко под землю. Это мозг обороны, и он не должен быть подвергнут случайностям. Люди устали, у всех тяжелые, бессонные глаза и свинцовые лица. Я пробую закурить, но спички одна за другой мгновенно потухают – здесь, в подземелье, мало кислорода.

Ночь. Мы почти на ощупь едем на разбитом «газике» из штаба к одному из командных пунктов. Среди вереницы разбитых и сожженных домов один целый. Из ворот, громыхая, выезжают скрипучие подводы, груженные хлебом: в этом уцелевшем доме пекарня. Город живет, живет – что бы ни было. Подводы едут по улицам, скрипя и вдруг останавливаясь, когда впереди, где-то на следующем углу, вспыхивает ослепительный разрыв мины.

Утро. Над головой ровный голубой квадрат неба. В одном из недостроенных заводских зданий расположился штаб бригады. Улица, уходящая на север, в сторону немцев, простреливается вдоль минометным огнем. И там, где когда-то, может быть, стоял милиционер, указывая, где можно и где не должно переходить улицу, теперь под прикрытием обломков стены стоит автоматчик, показывая место, где улица спускается под уклон и где можно переходить невидимо для немцев, не обнаруживая расположения штаба. Час назад здесь убило автоматчика. Теперь здесь стоит новый и по-прежнему на своем опасном посту «регулирует движение».

Уже совсем светло. Сегодня солнечный день. Время близится к полудню. Мы сидим на наблюдательном пункте в мягких плюшевых креслах, потому что наблюдательный пункт расположен на пятом этаже в хорошо обставленной инженерской квартире. На полу стоят снятые с подоконников горшки с цветами, на подоконнике укреплен стереотруба. Впрочем, стереотруба здесь для более дальнего наблюдения, так называемые передовые позиции отсюда видны простым глазом. Вот вдоль крайних домов поселка идут немецкие машины, вот проскочил мотоциклист, вот идут пешие немцы. Несколько разрывов наших мин. Одна машина останавливается посреди улицы, другая, заметавшись, прижимается к домам поселка. Сейчас же с ответным завыванием через наши головы в соседний дом ударяют немецкие мины.

Я отхожу от окна к стоящему посреди комнаты столу. На нем в вазочке засохшие цветы, книжки, разбросанные ученические тетради. На одной аккуратно, по линейкам, детской рукой выведено слово «сочинение». Да, как и во многих других, в этом доме, в этой квартире жизнь оборвалась на полуслове. Но она должна продолжаться, и она будет продолжаться, потому что именно для этого ведь дерутся и умирают здесь, среди развалин и пожарищ, наши бойцы.

Еще один день, еще одна ночь. Улицы города стали еще пустынее, но сердце его бьется. Мы подъезжаем к воротам завода. Рабочие-дружинники, в пальто и кожанках, перепоясанных ремнями, похожие на красногвардейцев восемнадцатого года, строго проверяют документы. И вот мы сидим в одном из подземных помещений. Все, кто остался охранять территорию завода и его цехи – директор, дежурные, пожарники и рабочие самообороны, – все на своих местах.

В городе нет теперь просто жителей – в нем остались только защитники. И, что бы ни было, сколько бы заводы ни вывезли станков, цех всегда остается цехом, и старые рабочие, отдавшие заводу лучшую часть своей жизни, оберегают до конца, до последней человеческой возможности эти цехи, в которых выбиты стекла и еще пахнет дымом от только что потушенных пожаров.

– Мы здесь еще не все отметили, – кивает директор на доску с планом заводской территории, где угольниками и кружочками аккуратно отмечены бесчисленные попадания бомб и снарядов.

Он начинает рассказывать о том, как несколько дней назад немецкие танки прорвали оборону и устремились к заводу. Надо было чем-то срочно, до ночи, помочь бойцам и заткнуть прорыв. Директор вызвал к себе начальника ремонтного цеха. Он приказал в течение часа выпустить из ремонта те несколько танков, которые были уже почти готовы. Люди, сумевшие своими руками починить танки, сумели в эту рискованную минуту сесть в них и стать танкистами.

Тут же, на заводской площадке, из числа ополченцев – рабочих и приемщиков – было сформировано несколько танковых экипажей; они сели в танки и, прогрохотав по пустому двору, прямо через заводские ворота поехали в бой. Они были первыми, кто оказался на пути прорвавшихся немцев у каменного моста через узкую речку. Их и немцев разделял огромный овраг, через который танки могли пройти только по мосту, и как раз на этом мосту немецкую танковую колонну встретили заводские танки.

Завязалась артиллерийская дуэль. Тем временем немецкие автоматчики стали переправляться через овраг. В эти часы завод против немецкой пехоты выставил свою заводскую, – вслед за танками у оврага появились два отряда ополченцев. Одним из этих отрядов командовали начальник милиции Костюченко и заведующий кафедрой механического института Панченко, другим управляли мастер инструментального цеха Попов и старый сталевар Кривулин. На обрывистых скатах оврага завязался бой, часто переходивший в рукопашную. В этих схватках погибли старые рабочие завода: Кондратьев, Иванов, Володин, Симонов, Момотов, Фомин и другие, имена которых сейчас повторяют на заводе.

Окраины заводского поселка преобразились. На улицах, выходивших к оврагу, появились баррикады. В дело пошло все: котельное железо, броневые плиты, корпуса разобранных танков. Как в гражданскую войну, жены подносили мужьям патроны и девушки прямо из цехов шли на передовые и, перевязав раненых, оттащивали их в тыл... Многие погибли в тот день, но этой ценой рабочие-ополченцы и бойцы задержали немцев до ночи, когда к месту прорыва подошли новые части.

Пустынны заводские дворы. Ветер свистит в разбитых окнах. И когда близко разрывается мина, на асфальт со всех сторон сыплются остатки стекол. Но завод дерется так же, как дерется весь город. И если к бомбам, к минам, к пулям, к опасности вообще можно привыкнуть, то значит, здесь к ней привыкли. Привыкли так, как нигде.

Мы едем по мосту через один из городских оврагов. Я никогда не забуду этой картины. Овраг далеко тянется влево и вправо, и весь он кишит, как муравейник, весь он изрыт пещерами. В нем вырыты целые улицы. Пещеры накрыты обгорелыми досками, тряпьем – женщины стащили сюда все, чем можно закрыть от дождя и ветра своих птенцов. Трудно сказать словами, как

горько видеть вместо улиц и перекрестков, вместо шумного города ряды этих печальных человеческих гнезд.

Опять окраина – так называемые передовые. Обломки сметенных с лица земли домов, невысокие холмы, взрытые минами. Мы неожиданно встречаем здесь человека – одного из четверых, которым с месяц назад газеты посвящали целые передовицы. Тогда они сожгли пятнадцать немецких танков, эти четверо бронбойщиков – Александр Беликов, Петр Самойлов, Иван Олейников и вот этот, Петр Болото, который сейчас неожиданно оказался здесь, перед нами. Хотя, в сущности, почему неожиданно? Такой человек, как он, и должен был оказаться здесь, в Сталинграде. Именно такие, как он, защищают сегодня город. И именно потому, что у него такие защитники, город держится вот уже целый месяц вопреки всему, среди развалин, огня и крови.

У Петра Болото крепкая, коренастая фигура, открытое лицо с прищуренными, с хитринкой глазами. Вспоминая о бое, в котором они подбили пятнадцать танков, он вдруг улыбается и говорит:

– Когда на меня первый танк шел, я уже думал – конец света наступил, ей-богу. А потом ближе танк подошел и загорелся, и уже вышло не мне, ему конец. И, между прочим, знаете, я за тот бой сигарок пять скрутил и скурил до конца. Ну, может быть, не до конца – врать не буду, – но все-таки скрутил пять сигарок. В бою так: ружье отодвинешь и закуришь, когда время позволяет. Курить в бою можно, только промахиваться нельзя. А то промахнешься и уже не закуришь – вот такое дело...

Петр Болото улыбается спокойной улыбкой человека, уверенного в правоте своих взглядов на солдатскую жизнь, в которой иногда можно отдохнуть и перекурить, но в которой нельзя промахнуться. Разные люди защищают Сталинград. Но у многих, у очень многих, есть эта широкая, уверенная улыбка, как у Петра Болото, есть спокойные, твердые, не промахивающиеся солдатские руки. И поэтому город дерется, дерется даже тогда, когда то в одном, то в другом месте это кажется почти невозможным.

Набережная, – вернее, то, что осталось от нее – остовы сгоревших машин, обломки выброшенных на берег барж, уцелевшие покосившиеся домишки. Жаркий полдень. Солнце заволокло сплошным дымом. Сегодня с утра немцы опять бомбят город. Один за другим на глазах пикируют самолеты. Все небо в зенитных разрывах: оно похоже на пятнистую серо-голубую шкуру какого-то зверя. С визгом кружатся истребители. Над головой, не прекращаясь ни на минуту, идут бои. Город решил защищаться любой ценой, и если эта цена дорога и подвиги людей жестоки, а страдания их неслыханны, то с этим ничего не поделаешь: борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Тихо плескаясь, волжская вода выносит на песок к нашим ногам обгоревшее бревно. На нем лежит утопленница, обхватив его опаленными скрюченными пальцами. Я не знаю, откуда принесли ее волны. Может быть, это одна из тех, кто погиб на пароходе, может быть, одна из погибших во время пожара на пристанях. Лицо ее искажено: муки перед смертью были, должно быть, невероятными. Это сделал враг, сделал на наших глазах. И пусть потом он не просит пощады ни у одного из тех, кто это видел. После Сталинграда мы его не пощадим.

Красная звезда. 1942. 24 сентября